

## ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ТИХИЙ ДОН»

Не «свирепый реализм», а редкостная искренность свойственна талантам типа Льва Толстого.

«Тихий Дон» — раскрывшиеся врата на длинном пути к истине.

Говорят, есть Шолохов времен «Тихого Дона» и есть Шолохов поздний. Какой из них лучший? Да какое дело читателям до этого мнения критиков, расчленяющих и разделяющих на части художника?

Не от любви ли ведется отсчет времени, не это ли мгновение начала жизни? Живет ли вообще человек, лишенный любви?

Как похожи понятия «любить» и «верить».

В душе Григория — противоречия, враждующие между собой смертельно. В третьей книге повержены, разбиты, утоплены в крови две толстовские добродетели — любовь к ближнему и умиротворенность.

От «Тихого Дона» исходит сияние свободы, красоты, правды.

Все здесь ново: и мысль, и форма. И от всего этого входит в душу спокойная радость, начинаешь верить в силу искусства.

Это «вечное произведение», наполненное гулом грозной поступи истории.

Для Гете борьба с демоном была смыслом его жизни. Одержал победу и Шолохов, исповедуя одно — правду.

«Тихий Дон» — лицо времени или разрушение времени?

Роман этот находится в дальней родственной связи с великими эпопеями — «Илиадой» Гомера и «Войной и миром» Толстого.

Живописец: «Я должен видеть».

Музыкант: «Я должен слышать».

Писатель: «Я должен видеть, слышать, знать». Шолохов многое видел, многое слышал, многое знал.

Наверное, высота мудрости — это самообладание, отсутствие страха и надежды.

«Тихий Дон» — не кряж, не горная цепь, а одинокая гора, вершина которой пока недостижима.

Искусство этого романа — взгляд, проникающий в самую душу человека на изломе истории.

Вспомнил чью-то фразу: «Сентиментальность во время войны лишь преступная глупость». Где здесь правда и где непростительная бесчеловечность? Жизнь героев «Тихого Дона», исполненная мук и скорби, — жизнь людская.

В иные исторические периоды насилие — необходимость. Можно ли с этим согласиться?

Есть ли отчужденность между философской мыслью и простым человеком? У Шолохова — мудрые герои.

Согласие со своей совестью — нравственность. Сделка с самим собой, со своей совестью — предательство.

Для прогресса средства важнее, чем цель.

Иные, сами ничего не создавая, со сладострастным злорадством подвергают сомнению работу талантов.

Почти каждый художник соткан из противоречий.

Гении тоже огорчаются из-за мелочей повседневности, во время как их жизнь не проходит, она бесконечна. Не мневаюсь, что слава Шолохова перейдет в бессмертие.

Говорят: прославлен за счет всех классиков и современных писателей, — так бывает с модными литераторами. Шолохов прославлен за счет самого себя. Он выше жалких критериев одного дня.

Утонченные эстеты возмущались грубостью, изнеженные поборники монастырской морали и ханжи негодовали, ужасались и предавали анафеме, а роман жил и продолжает жить.

Современных западных критиков интересует рождение на свет и развитие только текста, ибо он есть мозаика среди родственных мозаик или трансформация другого текста. Они убеждены, что литература делается из литературы, написание романа — результат насыщенности чужим текстом, чужими романами. В тексте возможен «плагиат», «общее место», «стереотип», тогда, значит, автор не «изобретатель» текста, а коллекционер разных стилей. Западные критики говорят: «Текст повинется только своим внутренним законам, все ос-

тальное — идеология». Однако структурный метод критика выявляет лишь скелет романа.

Шолохов нов во всем, он не поддается анализу западных структуралистов, так как нельзя разъять великое ради заданной «литературной игры».

Революция — это не миссия перераспределения свободы и свобод, а жестокий акт воздействия на действительность с попыткой изменить ее.

Роман отражает отношения между людьми, и если он, роман, изменив своему назначению, извратив свою натуру, поворачивается к обществу спиной, он совершает самоубийство. «Тихий Дон» повернут лицом к народу.

Литература пытается дать ответ на главный вопрос: как жить человеку в обществе.

Думаю, что понятия «реализм» и «эксперимент» — совместимы, что найденные новые формы приведут к открытию и успеху, и все-таки я возвращаюсь к изначальному вопросу: реализм — это система мышления и метод анализа без библейского смирения? Всякий литературный терроризм страшен, страшна и нетерпимость.

Литература народа, от имени народа и во имя народа не имеет права черпать материал в сплетнях, рассказанных в кулуарах писательского клуба. Шолохов — это воссоздание жизни народа.

*Юрий Бондарев*

Не сохами-то славная землюшка наша распахана...  
Распахана наша землюшка лошадиными копытами,  
А засеяна славная землюшка казацкими головами,  
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,  
Цветет наш батюшка тихий Дон сиротами,  
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,  
материнскими слезами.

Ой ты, наш батюшка тихий Дон!  
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?  
— Ах, как мне, тихому Дону, не мутну течи!  
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,  
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит.

*Старинные казацки песни*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север, к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, — Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурый, живущий придорожник, часовенка на развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.

В предпоследнюю Турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с иму-

ществом по хутору — высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто переключались бабы, орда немых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, — лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянют зори, на руках носил жену до Татарского ажника кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие — наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из никудышных...

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:

— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, просто Бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

— На сносях? — дивились бабы.

— Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.

— А с лица-то как?

— С лица-то? Желтая. Глаза тусменные, — небось не сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Прокофьевых шароварах.

— Ну-у?.. — ахали бабы испуганно и дружно.

— Сама видала — в шароварах, только без лампасин. Долж-

но, буднишные его подцепила. Длинная на ней рубаха, а изпод рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне...

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день Троицы, перед светом, видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок...

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланаясь.

— За чем добрым пожаловали, господа старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.

Наконец один подвыпивший старик первым крикнул:

— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу Люшня, стукал Прокофия головой о стену, уговаривал:

— Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!

— Тяни ее, суку, на баз!.. — гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распыленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревушие голоса.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.

\* \* \*

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать.

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делала его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.

С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — Турки.

Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных пелухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.

Под уклон сползавших годков закряхистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотре на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамяты и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену.

Старший, уже женатый сын его, Петро, напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое.

Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитем — вот и вся мелеховская семья.

## II

Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, ендывы<sup>1</sup>, камышистая непролазь, лес в росе — полыхали исступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.

В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый след.

Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится прямая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу.

На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в полисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.

— Гришка, рыбалить поедешь?

— Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.

— Поедем, посидим зорю.

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, подобрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирок, выправляя подвернувшийся задник.

---

<sup>1</sup> Ендыва — котловина, опушенная лесом.



— А приваду маманя варила? — сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы.

— Варила. Иди к баркасу, я зарáz.

Старик ссыпал в рубашку распаренное пахучее жито, похозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.

— Куда править?

— К Черному яру. Спробуем возле энтой кáрши, где надьсь сидели.

Баркас, черкнув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом.

— Гребани, что ль.

— А вот на середку выберемся.

Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушинные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Сажень в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла бурые комья пены.

— Разматывай, а я заприважу, — шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.

Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул: «Шик!» Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся:

— Ловись, ловись, рыбка, большая и малая.

Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий ногой придалвил конец удилица, полез, стараясь не шелохнуться, за кистом.

— Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе.

— Серники захватил?

— Ага.

— Дай огню.

Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги.

— Сазан, он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется.

— Чутно, мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий.

Возле баркаса, хлопнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди сазан со стоном прыгнул

вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.

— Теперя жди! — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду.

Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра.

\* \* \*

Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на неподвижный конец удилища.

Григорий выплюнул остаток сигарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал отца за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выкуренного натошак табака воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды — в это время конец удилища, торчавший на пол-аршина от воды, слабо качнулся, медленно пополз книзу.

— Засекай! — выдохнул старик.

Григорий, встрепенувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду, удилище согнулось от руки об ручем. Словно воротом, огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилище.

— Держи! — стонал старик, отпихивая баркас от берега.

Григорий силился поднять удилище и не мог. Сухо чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие.

— Ну и бугай! — пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.

Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул.

Едва грузило достигло дна, конец погнуло.

— Вот он, дьявол!.. — хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стremени рыбу.

Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.

— Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!

— Небось!

Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шархнул-ся вглубь.

— Давит, аж рука занемела... Нет, погоди!

— Держи, Гришка!

— Держу-у-у!

— Гляди под баркас не пуцай!.. Гляди!

Переводя дух, подвел Григорий к баркасу лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину.

— Голову его подымай! Нехай глотнет ветру, он посмирнеет.

Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников.

— Отвоевался! — крикнул Пантелей Прокофьевич, поддев его черпаком.

Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой.

— Сматывай, Гришка. Должно, последнего запрягли, ишо не дождемся.

Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет тот что-то сказать, но старик молча поглядывал на разметанные под горой двory хутора.

— Ты, Григорий, вот что... — нерешительно начал он, те-ребя завязки лежавшего под ногами мешка, — примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой...

Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезаясь в мускулистую прижатую солнцем шеею, выдавил белую полосу.

— Ты гляди, парень, — уже жестко и зло продолжал старик, — я с тобой не так загуарю. Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело может до греха разыграть, а я наперед упрещаю: примечу — запорю!

Пантелей Прокофьевич ссучил пальцы в узловатый кулак, — жмурия выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь.

— Наговоры, — глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу погляддел отцу.

— Ты помалкивай.

— Мало что люди гутарют...

— Цыц, сукин сын!

Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. За-  
витушками заплясала люлюкающая за кормой вода.

До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец  
напомнил:

— Глади не забудь, а нет — с нонешнего дня прикрыть все  
игрища. Чтоб с базу ни шагу. Так-то!

Промолчал Григорий. Примыкая баркас, спросил:

— Рыбу бабам отдать?

— Понеси купцам продай, — помягчел старик, — на табак  
разживешься.

Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, ба-  
та, хоть стреноженный, уйду ноне на игрище», — думал, злоб-  
но обгрызая глазами крутой отцовский затылок.

Дома Григорий заботливо смыл с сазаньей чешуи присох-  
ший песок, продел сквозь жабры хвостинку.

У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком Мить-  
кой Коршуновым. Идет Митька, играет концом наборного  
пояска. Из узеньких щелок желто маслятятся круглые с наглин-  
кой глаза. Зрачки — кошачьи, поставленные торчмя, оттого  
взгляд Митькин текуч, неуловим.

— Куда с рыбой?

— Нонешняя добыча. Купцам несу.

— Моховым, что ли?

— Им...

Митька на глазок взвесил сазана.

— Фунтов пятнадцать?

— С половиной. На безмене прикинул.

— Возьми с собой, торговаться буду.

— Пойдем.

— А магарыч?

— Сладимся, нечего впустую брехать.

От обедни рассыпался по улицам народ.

По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке  
Шамили.

Старший, безрукий Алексей, шел в середине. Тугой ворот-  
ник мундира прямил ему жилистую шею, редкая, курчавым кли-  
нышком боро денка зазорно топорщилась вбок, левый глаз  
нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в  
руках Алексея винтовку, кусок затвора изуродовал щеку. С той

поры глаз к делу и не к делу подмигивает; голубой шрам, перепавшая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей сигарки искусно и без промаха: прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами, скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую сигарку и просит огоньку.

Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный — так, с тыкву-травянку величиной; а случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут затерялся, стукнул кулаком — лег бык на борозде, из ушей кровь, на силу отлежался. Остальные братья — Мартин и Прохор — до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре.

Григорий поздоровался с Шамилями, Митька прошел, до хруста отвернув голову. На Масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов, махнул наотмашь, и выплюнул Митька на сизый, изодранный коваными каблуками лед два коренных зуба.

Равняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд.

— Продай чурбака!

— Купи.

— Почему просишь?

— Пару быков да жену в придачу.

Алексей, шурясь, замахал обрубок руки:

— Чудак, ах, чудак!.. Ох-хо-ха, жену... А приплод возьмешь?

— Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся, — зубоскалил Григорий.

На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитор<sup>1</sup>, поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?»

Гусь вертел шеей, презрительно жмурил бирюзинку глаза.

В кругу рядом махал руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок.

— Наш дед Гришака про Турецкую войну брешет. — Митька указал глазами. — Пойдем послушаем?

— Покель будем слушать — сазан провоняется, распухнет.

---

<sup>1</sup>Ктитор — церковный староста.

— Распухнет — весом прибавит, нам выгода.

На площади, за пожарным сараем, где рассыхаются пожарные бочки с обломанными оглоблями, зеленеет крыша моховского дома. Шагая мимо сарая, Григорий сплонул и зажал нос. Из-за бочки, застегивая шаровары — пряжка в зубах, — вылез старик.

— Приспичило? — съязвил Митька.

Старик управился с последней пуговицей и вынул изо рта пряжку.

— А тебе что?

— Носом навтыкать бы надо! Бородой! Бородой! Чтоб старуха за неделю не отбанила.

— Я тебе, стерва, навтыкаю! — обиделся старик.

Митька стал, щуря кошачьи глаза, как от солнца.

— Ишь ты, благородный какой. Сгинь, сукин сын! Что присучился? А то и ремнем!

Посмеиваясь, Григорий подошел к крыльцу моховского дома. Перила — в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень.

— Во, Митрий, живут люди...

— Ручка и то золоченая. — Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул: — Деда бы этого направить сюда...

— Кто там? — окликнули их с террасы.

Робея, Григорий пошел первый. Крашенные половицы мел сазаний хвост.

— Вам кого?

В плетеной качалке — девушка. В руке блюдце с клубникой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ, сжимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала пришедших.

На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул.

— Рыбки не купите?

— Рыбы? Я сейчас скажу.

Она качнула кресло, вставая, — зашлепала вышитыми, надетыми на босые ноги туфлями. Солнце просвечивало белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне оголенных икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела.

Митька толкнул Григория:

— Гля, Гришка, ну и юбка... Как стекло, насквозь все видеть.

Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присела на кресло.

— Пройдите на кухню.

Ступая на носках, Григорий пошел в дом. Митька, отставив ногу, жмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на ее голове на два золотистых полукруга. Девушка оглядела его озорными, беспокойными глазами.

— Вы здешний?

— Тутошний.

— Чей же это?

— Коршунов.

— А звать вас как?

— Митрием.

Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги.

— Кто из вас рыбу ловит?

— Григорий, друзьяк мой.

— А вы рыбалите?

— Рыбалу и я, коль охота набредет.

— Удочками?

— И удочками рыбалим, по-нашему — притугами.

— Мне бы тоже хотелось порыбалить, — сказала она, помолчав.

— Что ж, поедем, коль охота есть.

— Как бы это устроить? Нет, серьезно?

— Вставать надо дюже рано.

— Я встану, только разбудить меня надо.

— Разбудить можно... А отец?

— Что отец?

Митька засмеялся.

— Как бы за вора не почел... Собаками ишо притравит.

— Глупости! Я сплю одна в угловой комнате. Вот это окно. — Она указала пальцем. — Если придете за мной — постучите мне в окошко, и я встану.

В кухне дробились голоса: робкий — Григория, и густой, мазутный — кухарки.

Митька, перебирая тусклое серебро казачьего пояска, молчал.

— Женаты вы? — спросила девушка, тепла затаенную улыбку.

— А что?

— Так просто, интересно.

Митька внезапно покраснел, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала:

- Что же, Митя, девушки вас любят?
- Какие любят, а какие и нет.
- Ска-жи-те... А отчего это у вас глаза, как у кота?
- У... кота? – вконец терялся Митька.
- Вот именно, кошачьи.
- Это от матери, должно... Я тут ни при чем.
- А почему же, Митя, вас не женят?

Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неуволимую насмешку, замерцал желтизной глаз.

– Женилка не выросла.

Она изумленно взметнула брови, вспыхнула и встала.

С улицы по крыльцу шаги.

Ее коротенькая, таящая смех улыбка жиганула Митьку крапивой. Сам хозяин, Сергей Платонович Мохов, мягко шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронес мимо посторонившегося Митьки свое полнеющее тело.

– Ко мне? – спросил, пройдя, не поворачивая головы.

– Это, папа, рыбу принесли.

Вышел с порожними руками Григорий.

### III

Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из сенцев пахнуло на него запахом перекивших хмелин и пряной сухменью богородицыной травки.

На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные, с лампасами, шаровары, перекрестился, лег. На полу – перерезанная крестом оконного переплета золотая дрема лунного света. В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец серебряных икон, над кроватью на подвеске тягучий гуд потревоженных мух.

Задремал было, но в кухне заплакал братнин ребенок.

Немазаной арбой заскрипела люлька. Дарья сонным голосом бормотнула:

– Цыц, ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою, – запела тихонько:

- Колода-дуга,
- Иде ж ты была?
- Коней стерегла.



- Чего выстерегла?
- Коня с седлом,
- С золотым махром...

Григорий, засыпая под мерный баюкающий скрип, вспомнил: «А ить завтра Петру в лагерь выходить. Останется Дашка с дитем... Косить, должно, без него будем».

Зарылся головой в горячую подушку, в уши назойливо сочится:

- А иде ж твой конь?
- За воротами стоит.
- А иде ж ворота?
- Вода унесла.

Встрянуло Григория залиvistое конское ржанье. По голосу угадал Петрова строевого коня.

Обессиленными со сна пальцами долго застегивал рубаху, опять почти уснул под текучую зыбь песни:

- А иде ж гуси?
- В камыш ушли.
- А иде ж камыш?
- Девки выжали.
- А иде ж девки?
- Девки замуж ушли.
- А иде ж казаки?
- На войну пошли...

Разбитый сном, добрался Григорий до конюшни, вывел коня на проулок. Щекотнула лицо налетевшая паутина, и неожиданно пропал сон.

По Дону наискось — волнистый, никем не езженный лунный шлях. Над Доном — туман, а вверх звездное просо. Конь позади сторожко переставляет ноги. К воде спуск дурной. На той стороне утиный крик, возле берега в тине взвернул и бухнул по воде омахом охотящийся на мелочь сом.

Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце у Григория сладостная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь, глянул на восход, там уже рассосалась синяя полутьма.

Возле конюшни столкнулся с матерью.

- Это ты, Гришка?
- А то кто ж.

— Коня поил?

— Поил, — нехотя отвечает Григорий.

Откинувшись назад, несет мать в завеске<sup>1</sup> на затоп кизья-ну, шаркает старчески дряблыми босыми ногами.

— Сходил бы Астаховых побудил. Степан с нашим Петром собирался ехать.

Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожащую пружину. Тело в колючих мурашках. Через три порожка взбегает к Астаховым на гулкое крыльцо. Дверь не заперта. В кухне на разостланной полсти спит Степан, под мышкой у него голова жены.

В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиньину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту и в чугунном звоне пухнет голова.

Воровато повел глазами. Зачужавшим голосом хрипло:

— Эй, кто тут есть? Вставайте!

Аксинья всхлинула со сна.

— Ой, кто такое? Ктой-то? — Суетливо зашарила, забила в ногах голая ее рука, натягивая рубаху. Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны; крепок заревой бабий сон.

— Это я. Мать послала побудить вас...

— Мы зараз... Тут у нас не влезешь... От блох на полу спим. Степан, вставай, слышишь?

По голосу Григорий догадывается, что ей неловко, и спешит уйти.

\* \* \*

Из хутора в майские лагеря уходило человек тридцать казачков. Место сбора — плац. Часам к семи к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие и конные казаки в майских парусиновых рубахах, в снаряжении.

Петро на крыльце наспех сшивал треснувший чембур. Пантелей Прокофьевич похаживал возле Петрова коня, подсыпая в корыто овес, изредка покрикивал:

— Дуняшка, сухари зашила? А сало пересыпала солью?

---

<sup>1</sup>Завесок — передник.

Вся в румянном цвету, Дуняшка ласточкой чертила баз от стряпки к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась:

— Вы, батя, свое дело управляйте, а я братушке так уложу, что до Черкасского не ворохнется.

— Не поел? — осведомился Петро, слюнявя драгву и кивая на коня.

— Жует, — степенно отвечал отец, шершавой ладонью проверяя потники. Малое дело — крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню.

— Доисть Гнедой — попоите его, батя.

— Гришка к Дону сводит. Эй, Григорий, веди коня!

Высокий поджарый донец с белой на лбу вывездью пошел играючись. Григорий вывел его за калитку, чуть тронув левой рукой холку, вскочил на него и с места — машистой рысью. У спуска хотел придержать, но конь сбился с ноги, зачастил, пошел под гору наметом. Откинувшись назад, почти лежа на спине коня, Григорий увидел спускавшуюся под гору женщину с ведрами. Свернул со стежки и, обгоняя взбаламученную пыль, врезался в воду.

С горы, покачиваясь, сходила Аксинья, еще издали голо-систо крикнула:

— Чертяка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу отцу, как ты ездешь.

— Но-но, соседка, не ругайся. Проводишь мужа в лагерь, может, и я в хозяйстве сгожусь.

— Как-то ни черт, нужен ты мне!

— Зачнется покос — ишо попросишь, — смеялся Григорий.

Аксинья с подмостей ловко зачерпнула на коромысле ведро воды и, зажимая промеж колен надутую ветром юбку, глянула на Григория.

— Что ж, Степан твой собрался? — спросил Григорий.

— А тебе чего?

— Какая ты... Спросить, что ль, нельзя?

— Собрался. Ну?

— Остаешься, стал быть, жалмеркой?

— Стал быть, так.

Конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекающую воду и, глядя на ту сторону Дона, ударил по воде передней ногой. Аксинья зачерпнула другое ведро; перекинув через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, пе-

ребирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщившись, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи, провожал глазами каждое движение. Ему хотелось снова заговорить с ней.

— Небось, будешь скучать по мужу? А?

Аксинья на ходу повернула голову, улыбнулась.

— А то как же. Ты вот женись, — переводя дух, она говорила прерывисто, — женись, а после узнаешь, скучают ай нет по дружечке.

Толкнув коня, равняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза:

— А ить иные бабы ажник рады, как мужей проводят. Наша Дарья без Петра толстеть зачинает.

Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала; поправляя волосы, сказала:

— Муж — он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим?

— Не знаю, как батя. Должно, после службы.

— Молодой ишо, не женись.

— А что?

— Сухота одна. — Она глянула исподлобья; не разжимая губ, скупо улыбнулась. И тут в первый раз заметил Григорий, что губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые.

Он, разбирая гриву на прядки, сказал:

— Охоты нету жениться. Какая-нибудь и так полюбит.

— Ай приметил?

— Чего не примечать... Ты вот проводишь Степана...

— Ты со мной не заигрывай!

— Ушибешь?

— Степану скажу словцо...

— Я твоего Степана...

— Гляди, храбрый, слеза капнет.

— Не пужай, Аксинья!

— Я не пужаю. Твое дело с девками. Пуцдай утирки тебе вышивают, а на меня не заглядывайся.

— Нарошно буду глядеть.

— Ну и гляди.

Аксинья примиряюще улыбнулась и сошла со стежки, но-

рова обойти коня. Григорий повернул его боком, загородил дорогу.

— Пусти, Гришка!

— Не пущу.

— Не дури, мне надо мужа собирать.

Григорий, улыбаясь, горячил коня; тот, переступая, теснил Аксинью к яру.

— Пусти, дьявол, вон люди! Увидют, что подумают?

Она метнула по сторонам испуганным взглядом и прошла, хмурясь и не оглядываясь.

На крыльце Петро простался с родными. Григорий заседал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григория поводья.

Конь, чуя дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту, мундштук. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу:

— Лысых работой не нури, батя! Заосеняет — продадим. Григорию ить коня справлять. А степную траву, гляди, не продавай: в лугу ноне, сам знаешь, какие сена будут.

— Ну, с Богом. Час добрый, — проговорил старик, крестясь.

Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил позади складки рубахи, стянутые пояском. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам.

Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди база.

— Братушка, пирожки! Пирожки забыл!.. Пирожки с картошкой!..

Дуняша козой скакнула к воротам.

— Чего орешь, дура! — досадно крикнул на нее Григорий.

— Остались пирожки-и! — прислонясь к калитке, стонала Дуняшка, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку — слезы.

Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший столб у ворот, глянул на Григория.

— Ворота возьмишь поправь да стоянок на углу врой. — Подумав, добавил, как новость сообщил: — Уехал Петро.

Через плетень Григорий видел, как собирался Степан.

Принаряженная в зеленую шерстяную юбку Аксинья подвела ему коня. Степан, улыбаясь, что-то говорил ей. Он не спеша, по-хозяйски, поцеловал жену и долго не снимал руки с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой Аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной; через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и — когда наклонялся к жене — закрученный кончик русого уса.

Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи заглядывала ему в глаза.

Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом.

Григорий провожал их долгим, неморгающим взглядом.

#### IV

К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидаяще молчала. В хуторе хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную внешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя.

Дуняшка, болтая косичками, прожгла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертелся, приседая на одной ноге, — на голове у него, закрывая ему глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз, — и пронзительно верещал:

Дождюк, дождюк, припусти,  
Мы поедем во кусты  
Богу молиться,  
Христу поклониться.

Дунышка завистливо глядела на босые, густо усыпанные пыпками Мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочить голову, чтоб волос рос густой и курчавый; хотелось вот так же, как Мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами, с риском свалиться в колючки, — но в окно глядела мать, сердито шлепая губами. Вздохнув, Дунышка побежала в курень. Дождь спустился ядреный и частый. Над самой крышей лопнул гром, осколки покатались за Дон.

В сенях отец и потный Гришка тянули из боковушки скатанный бредень.

— Ниток суровых и иглу-цыганку, шибко! — крикнул Дунышке Григорий.

В кухне зажгли огонь. Зашивать бредень села Дарья. Старуха, укачивая дитя, бурчала:

— Ты, старый, сроду на выдумки. Спать ложились бы, гас<sup>1</sup> все дорожает, а ты жгешь. Какая теперича ловля? Куда вас чу-ма понесет? Ишо перетопнете, там ить на базу страсть Господня. Ишь, ишь как полыхает! Господи Иисусе Христе, царица небес...

В кухне на секунду стало ослепительно сине и тихо: слышно было, как ставни царапал дождь, — следом ахнул гром. Дунышка пискнула и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери.

Старуха страшными глазами глядела на ластившуюся у ног ее кошку.

— Дунька! Го-о-ни ты ее, прок... царица небесная, прости меня, грешницу. Дунька, кошку выкинь на баз. Брысь ты, нечистая сила! Чтоб ты...

Григорий, уронив комол бредня, трясся в беззвучном хохоте.

— Ну, чего вы вскагакались? Цыцте! — прикрикнул Пантелей Прокофьевич. — Бабы, живо зашивайте! Надысь ишо говорил: оглядите бредень.

— И какая теперя рыба, — заикнулась было старуха.

— Не разумеешь — молчи! Самое стерлядей на косе возьмем. Рыба к берегу зараз идет, боится бурю. Вода небось уж мутная пошла. Ну-ка, выбеги, Дунышка, послухай — играет ерик?

---

<sup>1</sup> Г а с — керосин.

Дуняшка нехотя, бочком, подвинулась к дверям.

— Кто ж бродить пойдет? Дарье нельзя, может груди застудить, — не унималась старуха.

— Мы с Гришкой, а с другим бреднем — Аксинью покличем, кого-нибудь ишо из баб.

Запахавшись, вбежала Дуняша. На ресницах, подрагивая, висели дождевые капельки. Пахнуло от нее отсыревшим черноземом.

— Ерик гудет, ажник страшно!

— Пойдешь с нами бродить?

— А ишо кто пойдет?

— Баб покличем.

— Пойду!

— Ну, накинь зипун и скачи к Аксинье. Ежели пойдет, пцай покличет Малашку Фролову!

— Энта не замерзнет, — улыбнулся Григорий, — на ней жиру, как на добром борове.

— Ты бы сенца сухого взял, Гришунька, — советовала мать, — под сердце подложишь, а то нутрѣ застудишь.

— Григорий, мотай за сеном. Старуха верное слово сказала.

Вскоре привела Дуняшка баб. Аксинья, в рваной подпоясанной веревкой кофтенке и в синей исподней юбке, выглядела меньше ростом, худее. Она, пересмеиваясь с Дарьей, сняла с головы платок, потуже закрутила в узел волосы и, покрываясь, откинув голову, холодно оглядела Григория. Толстая Малашка подвизывала у порога чулки, хрипела простуженно:

— Мешки взяли? Истинный Бог, мы ноне шатанем рыбы.

Вышли на баз. На размякшую землю густо лил дождь, пенил лужи, потоками сползал к Дону.

Григорий шел впереди. Подмывало его беспричинное веселье.

— Гляди, батя, тут канава.

— Эка темень-то!

— Держись, Аксюша, при мне, вместе будем в тюрьме, — хрипло хохочет Малашка.

— Гляди, Григорий, никак, Майданниковых пристань?

— Она и есть.

— Отсель... зачинать... — осиливая хлобыстающий ветер, кричит Пантелей Прокофьевич.

— Не слышно, дяденка! — хрипит Малашка.

— Заброди, с Богом... Я от глуби. От глуби, говорю... Ма-



лашка, дьявол глухой, куда тянешь? Я пойду от глуби!.. Григорий, Гришка! Аксинья пуцай от берега!

У Дона стонущий рев. Ветер на ключья рвет косое полотнище дождя.

Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. Липкий холод дополз до груди, обручем стянул сердце. В лицо, в накрепко зажмуренные глаза, словно кнутом, стегает волна. Бредень надувается шаром, тянет вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному дну. Комол рвется из рук... Глубже. Глубже. Уступ. Срываются ноги. Течение порывисто несет к середине, всасывает. Григорий правой рукой с силой гребет к берегу. Черная кольшущаяся глыбина пугает его, как никогда. Нога радостно наступает на зыбкое дно. В колено стучается какая-то рыба.

— Обходи глубе! — откуда-то из вязкой черни голос отца. Бредень, накренившись, опять ползет в глубину, опять течение рвет из-под ног землю, и Григорий, задирая голову, плывет, отплеывается.

— Аксинья, жива?

— Жива покуда.

— Никак, перестает дождик?

— Маленький перестает, зараз большой тронется.

— Ты потихоньку. Отец услышит — ругаться будет.

— Испужался отца, тоже...

С минуту тянут молча. Вода, как липкое тесто, вяжет каждое движение.

— Гриша, у берега, кубыть, карша. Надоть обвесть.

Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, будто с яра рухнула в воду глыбища породы.

— А-а-а! — где-то у берега визжит Аксинья.

Перепуганный Григорий, вынырнув, плывет на крик.

— Аксинья!

Ветер и текучий шум воды.

— Аксинья! — холодея от страха, кричит Григорий.

— Э-гей!! Гри-го-ри-ий! — издалека приглушенный отцов голос.

Григорий кидает взмахи. Что-то вязкое под ногами, схватил рукой: бредень.

— Гриша, где ты?.. — плачущий Аксиньин голос.

— Чего ж не откликалась-то?.. — сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег.

Присев на корточки, дрожа, разбирают спутанный комом бредень.

Из прорехи разорванной тучи вылупливается месяц. За займищем сдержанно поговаривает гром. Лоснится земля не-впитанной влагой. Небо, выстиранное дождем, строго и ясно.

Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинью. Лицо ее мелово-бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются.

— Как оно меня шибанет на берег, — переводя дух, рассказывает она, — от ума отошла. Спужалась до смерти! Я думала — ты утоп.

Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи.

— Как у тебя тепло-то в рукаве, — жалобно говорит она, — а я замерзла. Колики по телу пошли.

— Вот он, проклятуший сомяга, где саданул!

Григорий раздвигает на середине бредня дыру аршина полтора в поперечнике.

От косы кто-то бежит. Григорий угадывает Дуняшку. Еще издали кричит ей:

— Нитки у тебя?

— Туточка.

Дуняшка, запыхавшись, подбегает.

— Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтоб скорей шли к косе. Мы там мешок стерлядей наловили! — В голосе Дуняшки нескрываемое торжество.

Аксинья, лязгая зубами, зашивает дыру в бредне. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу.

Пантелей Прокофьевич крутит сигарку рубчатymi от воды и пухлыми, как у утопленника, пальцами; приплясывая, хватается:

— Раз забрели — восемь штук, а другой раз... — Он делает передышку, закуривает и молча показывает ногой на мешок.

Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрежещущий треск: трется живучая стерлядь.

— А вы чего ж отбились?

— Сом бредень просадил.

— Зашили?

— Кое-как, ячейки посцепили...

— Ну дойдем до колена — и домой. Забрерай, Гришка, чего ж взноворился?

Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень.

— Не трясись!

— И рада б, да духу не переведу.

— Давай вот что... Давай вылазить, будь она проклята, рыба эта!

Крупный сазан бьет через бредень. Учащая шаг, Григорий загибает бредень, тянет комол. Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба.

— Через займище пойдем?

— Лесом ближе. Эй, вы там, скоро?

— Идите, догоним. Бредень вот пополоскаем.

Аксинья, морщась, выжала юбку, подхватила на плечи мешок с уловом, почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Прошли саженой сто, Аксинья заохала:

— Моченьки моей нету! Ноги с пару зашлись.

— Вот прошлогодняя копна, может, погреешься?

— И то. Покуда до дому дотянешь — помереть можно.

Григорий свернул набок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели.

— Лезь в середку. Тут — как на печке.

Аксинья, кинув мешок, по шее зарылась в сено.

— То-то благодать!

Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых Аксиньиных волос тек нежный, волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом.

— Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, таким цветом белым... — шепнул, наклоняясь, Григорий.

Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб стареющего месяца.

Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала.

— Пусти!

— Помалкивай.

— Пусти, а то зашумлю!

— Погоди, Аксинья...

— Дядя Пантелей!

— Ай заблудилась? — совсем близко, из зарослей боярышника, отозвался Пантелей Прокофьевич.

Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны.

— Ты чего шумишь? Ай заблудилась? — подходя, переспросил старик.

Аксинья стояла возле копны, поправляя сбитый на затылок платок, над нею дымился пар.

— Заблудиться-то нет, а вот было-к замерзнула.

— Тю, баба, а вот, гля, копна. Посогрейся.

Аксинья улыбнулась, нагнувшись за мешком.

## V

До хутора Сетракова — места лагерного сбора — шестьдесят верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян: Федот Бодовсков — молодой калмыковатый и рябой казак, второочередник лейб-гвардии Атаманского полка Хрисанф Токин, по прозвищу Христоня, и батареец Томилин Иван, направлявшийся в Персиановку. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового<sup>1</sup> Христониного коня и Степанового вороного. Остальные три лошади, оседланные, шли позади. Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, пугал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареец Томилин. Федот Бодовсков шел позади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу кривые свои калмыцкие ноги.

Христинина бричка шла головной. За ней тянулись еще семь или восемь запряжек с привязанными оседланными и неоседланными лошадьми.

Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвяк порожних стремян.

У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длиннющий ус.

— Степан!

— А?

— ...на! Давай служивскую заиграем?

---

<sup>1</sup> Двухвершковый конь — конь ростом в два аршина и два вершка. В царскую армию казак обязан был явиться со своим конем не ниже двух аршин и полвершка.

— Жарко дюже. Ссохлось все.  
— Кабаков нету на ближних хуторах, не жди!  
— Ну, заводи. Да ты ить не мастак. Эх, Гришка ваш дишканил! Потянет, чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли.

Степан откидывает голову, прокашлявшись, — заводит низким звучным голосом:

Эх ты, зоренька-зарница,  
Рано на небо взошла...

Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стнящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батареяца синеют от усилия узелки жил на висках.

Молодая, вот она, бабенка  
Поздно по воду пошла...

Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет.

— Христоня, подмоги!

А мальчишка, он догадался,  
Стал коня свою седлать...

Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.

Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, сотрясая брезентовую крышу будки:

Оседлал коня гнедого —  
Стал бабенку догонять...

Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза — потное лицо в тени, — ласково ведет песню, то снижая голос до шепота, то вскидывая до металлического звона:

Ты позволь, позволь, бабенка,  
Коня в речке напоить...

И снова колокольню-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса и с соседних бричек. Поцоккивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тя-

гучая и сильная, полой водой, течет над дорогой песня. От высыхающей степной музги, из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит в ложину; поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами, на шагающих по обочине дороги людей в белых, просмоленных пылью рубахах. Чибис падает в ложине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву — и не видит, что творится на дороге. А по дороге так же громяют брички, так же нехотя переступают запотевшие под седлами кони; лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грудятся вокруг нее, стонут в хохоте.

Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает; сыплет мельчайшей, подмывающей скороговоркой:

Не садися возле меня,  
 Не садися возле меня,  
 Люди скажут — любишь меня,  
 Любишь меня  
 Ходишь ко мне,  
 Любишь меня,  
 Ходишь ко мне,  
 А я роду не простого...

Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль:

А я роду не простого...  
 Не простого —  
 Воровского, —  
 Воровского —  
 Не простого,  
 Люблю сына князевского...

Федот Бодовсков свищет; приседая, рвутся из постромок кони; Петро, высовываясь из будки, смеется и машет фуражкой; Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами; а по дороге бугром движется пыль; Христоня, в распоясанной длиннющей рубахе, патлатый, мокрый от пота, ходит вприсядку, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка, и на сером шелковье пыли остаются чудищные разлапистые следы босых его ног.